

русской поэзии, увидит другие берега, другие волны. Одним из таких смелых «пловцов», на которых «надеялся» Пушкин, был Языков.

*Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.*

*Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепко парус мой [3, с. 282].*

«Блаженная страна», о которой мечтал Языков, многозначный символ. Кажется, что это есть и вечная страна русской поэзии, открытая Пушкиным, но туда волны выносят «только сильного душой»...

Примечания

1. Языков Н. М. Языковский архив. Письма Н. М. Языкова родным за дерптский период его жизни. – СПб., 1913.
2. Киреевский И. В. Критика и эстетика. – М., 1979.
3. Языков Н. М. Полн. собр. стихотворений. – М.; Л., 1964.
4. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 16 т. – М., 1937 – 1949.
5. Гоголь Н. В. Собр. соч. : в 7 т. – М.: Художественная литература, 1966 – 1967.

Тут сама хронология была красноречивее любого пророчества. Гоголь слышал нарастающий шум исторической стихии. В 1839 году он начал писать повесть «Рим»², которая была частью его исторических европейских записок.

В этой повести он изображает провинциального итальянского писателя, который приехал в Париж, где бушуют политические страсти. Ничего подобного он не мог слышать и читать в своих захолустных изданиях «Римский ежедневник» или «Пират», где публиковались анекдоты времен персидского царя Дария или сведения о Термопилах.

«Тут, напротив, везде видно было кипевшее перо. Вопросы на вопросы, возраженья на возраженья – казалось, всякий изо всех сил топорицился: тот грозил близкой переменой вещей и предвещал разрушение государству».

Всякое движение «камер» и «министерств» «отчаянным криком слышалось в журналах».

«Даже страх чувствовал итальянец, читая их, думая, что завтра же встывает революция, как будто в чаду выходил из литературного кабинета, и только один Париж с своими улицами мог выветрить в одну минуту из головы этот груз».

Страх чувствовал и Гоголь. И он, как тот провинциальный итальянец в Париже, следил «порхающий по всему блеск и пестрое движение», походившие на «легкие цветки, взбежавшие по оврагу пропасти».

В августе 1834 года в Петербурге была выставлена для всеобщего обозрения картина Карла Брюллова (1799 – 1852) «Последний день Помпеи» (1830 – 1833). Она произвела на современников огромное впечатление. Написанная на сюжет из истории Древнего мира, картина была полна самыми современными представлениями о «разрушении царства».

Пушкин, видевший картину Брюллова в зале Академии художеств, посвятил «Последнему дню Помпеи» трагические стихи об историческом землетрясении:

*Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя
Широко разлилось, как боевое знамя.
Земля волнуется – с шатнувшихся колонн*

² В феврале 1842 г. повесть «Рим» была закончена и прочитана Гоголем сначала у Аксаковых, затем – на литературном вечере у князя Д. В. Голицына. Впервые напечатана с подзаголовком «Отрывок» [4].

«В годину страха...»

Гоголь был профессиональным историком. В 1834 году он получил должность адъюнкт-профессора по кафедре всеобщей истории Санкт-Петербургского университета. Он читал курс истории Средних веков.

Одну из его лекций посетили Жуковский и Пушкин. «После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно», – вспоминал Н.И. Иваницкий¹ [1].

В «Журнале Министерства народного просвещения» была напечатана статья Гоголя «План преподавания всеобщей истории» [2].

Мечта Гоголя состояла в том, чтобы основать кафедру всеобщей истории в Киевском университете. Был у него и обширный замысел истории малороссийских казаков. Он хотел обосноваться в родных краях – «в моем прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многолюдными садами, опоясанном моим южным, прекрасным чудными небом...» [3].

У него были обширные сведения по истории Украины. Но как историк Гоголь был занят современностью не меньше, чем прошлым. А может быть, даже больше. Потому что современность была тревожной.

В отличие от Пушкина, Гоголь часто бывал в Европе, подолгу жил в Париже и Риме. У него составилось достаточно ясное представление о закономерности общеевропейского движения навстречу «потопу».

¹ Н. И. Иваницкий (окончил университет в 1838 г.) в бытность свою студентом присутствовал на лекции и оставил наиболее достоверное описание ее. – Прим. сост.

*Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем, под воспаленным прахом
Толпами, стар и млад, бежит из града вон...
(«Везувий зев открыл...», 1834 г.) [5].*

Огромное впечатление эта картина произвела и на Гоголя. Он посвятил ей статью «Последний день Помпеи (Картина Брюллова)», напечатанную в 1835 году в книге «Арабески». Гоголь увидел в этой картине обобщенный образ XIX столетия с его мировыми историческими столкновениями и катастрофами, напоминавшими огненные страницы древности.

«Картина Брюллова, – пишет Гоголь, – может назваться полным, всемирным созданием. В ней все заключилось. По крайней мере, она захватила в область свою столько разнородного, сколько до него никто не захватывал. Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокупить все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целую массой». Олицетворением «сильного кризиса» и становится землетрясение, гибель Помпеи.

Прошедший по краю пропасти, Гоголь очень живо чувствовал трагичность землетрясения. Поэтому так ему нравилась баллада Н. М. Языкова: «И шум и гром землетрясения не умолкал, не умолкал...» «Какое величие, простота и каменная прелесть внушенной Богом мысли, – говорил Гоголь. – <...> Жуковский, подобно мне, был поражен им и признал его решительно лучшим русским стихотворением».

Рассматривая картину Брюллова, Гоголь грустил о падении и разрушении целого строя жизни. Он жалеет «прекрасную землю нашу». У Брюллова «все предметы, от великих до малых <...> драгоценны». Он «схватил молнию и бросил ее целым потоком на свою картину».

Исторические взгляды Гоголя были органически связаны с его религиозным идеалом. Цветущая гавань Помпеи в Кампании погибла в 79 году нашей эры. Эта вулканическая катастрофа была символом разрушения языческого мира.

Никогда еще люди не нуждались так в утешении, как в годину великих перемен в жизни человечества. Об этом прекрасно сказал Языков в стихотворении «Землетрясение» [6]:

*Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха
И ликам ангельским внемли.*

Исторические и религиозные идеи находили выход в область искусства, становились выражением эстетических представлений Гоголя о роли и назначении поэта.

В 1844 году Гоголь написал статью «Исторический живописец Иванов», которая вошла как XXIII письмо в его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголь познакомился с Александром Ивановым в Риме в 1838 году, когда художник работал над своей картиной «Явление Христа народу».

Это была после «Гибели Помпеи» новая великая страница всемирной истории – торжество христианства, «Благая весть» и утешение. Иванов хотел «изобразить на лицах весь этот ход обращения человека к Христу».

«Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения <...>, а именно – первое появление Христа народу». На первом плане – фигура Иоанна Крестителя, а в «глубине времени» уже идет Тот, «которого еще никто не видал из народа», но во имя которого уже совершено крещение.

Гоголь любил замысел этой картины. Он мечтал, что второй том «Мертвых душ» будет обнародован в тот же год, когда будет выставлена картина Иванова. Ничего не казалось «в годину страха» важнее этой великой цели надежды и утешения.

Здесь Гоголь хотел подняться «превыше праха». Как завещал поэт:

*И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены («Землетрясение»)* [6].

Гоголь рассуждал о Брюллове и Александре Иванове не как «искусствовед», а как историк и религиозный мыслитель. Для него историческая последовательность двух сюжетов, разработанных двумя знаменитыми художниками 30 – 40-х годов, была

180

Своевременная неудача

В «Авторской исповеди», вспоминая свои ранние годы, Гоголь пишет: «Мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий...»

Мать Гоголя, Марья Ивановна Косырянская (1791 – 1868), слыла первой красавицей на Полтавщине. Но ее красота не передавалась сыну. Зато сын ее умел придавать своему лицу черты сценической маски, трагической или комической по своему желанию. В ученические годы, в Нежинском лицее, он вызвался однажды сыграть роль скряги в каком-то спектакле и «практиковался более месяца», главное, для того, чтобы «нос сходился с подбородком» [1]. И достиг успеха в этом сценическом преображении.

Отец Гоголя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777 – 1825), был добрый человек, талантливым провинциальный любитель искусства [2]. Для домашнего театра известного вельможи Дмитрия Петровича Трощинского (1745 – 1829) он сочинял комедии. И на сцене выступал в качестве актера и даже дирижировал оркестром. Одна из его комедий называлась «Простак» [3].

Можно сказать, что комический талант Гоголь унаследовал от отца [4]. Соученики Гоголя по гимназии вспоминают, как он заставлял зрительный зал смеяться, не произнося ни слова.

«Во втором действии представлена на сцене простая малороссийская хата и несколько обнаженных деревьев; вдали река и пожелтевший камыш. Возле хаты стоит скамейка; на сцене никого нет...»

Но вот появляется Гоголь в роли дряхлого старика, «в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах»; «опираясь

182

важнее различия в объеме таланта каждого из них, важнее различия в «оперном стиле» Брюллова и идеальной композиции Александра Иванова.

Все годилось для того, чтобы ярче и точнее определить границы эпохи, а также историческую цель современного искусства, как ее понимал Гоголь в «годину страха».

«Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей – нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались», – пишет Гоголь. – «<...> Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений не имевшие – и уже друг друга ненавидящие».

Гоголя ужасало участие искусства в общей сумятице времени. «В то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир – дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепоглощающая саранча, нападает на сердца людей повсюду».

В то время, когда литература вступала на «журнальный путь», Гоголь стал едва ли не единственным писателем XIX века, провозгласившим и религиозно обосновавшим эстетический идеал христианского искусства.

«Под звуки Орфеевой лиры строились города», – пишет Гоголь. – «Искусство есть примирение с жизнью. Это правда».

Эта мысль была важнейшей в «Авторской исповеди» Гоголя, впервые напечатанной в 1855 году, уже после смерти писателя.

Примечания

1. Пушкинский сборник. – М, 1909. – Т. 8. – С. 85.
2. Журнал Министерства народного просвещения. – 1834. – Кн. 2.
3. Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 7 т. – М.: Художественная литература, 1966 – 1967.
4. Москвитянин. – 1842. – № 3.
5. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1937 – 1949.
6. Языков Н. М. Полн. собр. стихотворений. – М.; Л., 1964.

181

Лекции

на палку, он едва передвигается, доходит, кряхтя, до скамейки и садится».

Сидит, трясется, кряхтит, хихикает, как это бывает со стариками, и наконец «закашлял таким душливым и сильным старческим кашлем, с неожиданным прибавлением, что вся публика грохнула и разразилась неудержимым смехом... А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены, уморивши всех со смеху» [1].

Эта пантомима с декорациями была вполне в духе народного театра. Гоголь постигал законы комического в искусстве как «тайну счастья» на земле. «Вы знаете, какой я охотник всего радостного? – пишет Гоголь в одном из писем, – <...> я раздвигал науку веселой, счастливой жизни...» Но в те годы, когда Гоголь был учеником гимназии высших наук в Нежине, в литературе хорошим тоном и модой считались задумчивость, печаль, одним словом, «возвышенные» настроения и сочинения.

И Гоголь говорит: «часто в часы задумчивости <...> другим казался я печальным <...>, они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности».

А все комическое относили к проделкам, шуткам. И вот Гоголь, как бы оправдывая ожидания своих близких, написал поэму. Она называлась «Ганц Кюхельгартен».

Это было его первое произведение. Гоголь дебютировал в 1827 году как поэт. И показал себя искусным стихотворцем. В его поэме есть певучий музыкальный ритм.

*Внимая шуму листопада,
Промеж деревьев, где сквозит
Из стен решетчатых ограда,
В забвенье сладостном, у сада
Наш Ганц, закутавшись, стоит.*

Герой в романтическом плаще, скиталец Ганц, на фоне поэтического листопада – это была идиллическая картина в духе времени. «Любовь к человечеству, составляющая поэтический элемент творений Шиллера», – пишет соученик Гоголя по Нежину Нестор Кукольник, – «быстро привилась к нам...» [5].

Но в «Ганце Кюхельгартене» были также диковатые образы и мотивы, почерпнутые, как «Вий» позднейших лет, из мира

183

народной сказки. Мрачные фантазии причудливо сочетались с плясовыми ритмами:

*Подымается протяжно
В белом саване мертвец.
Кости пыльные он важно
Оттирает, молодец,
С чела давнего глад веет,
В глазе палевый огонь,
И под ним великий конь,
Необъятный, весь белеет...*

Неподалеку от Васильевки располагалось имение Обуховка, принадлежавшее знаменитому поэту Василию Капнисту, который некогда был очень близок к самому Державину. Так вот, Капнист, по преданию, еще о детских стихотворных опытах Гоголя сказал: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководителе учителя-христианина...» [6].

И вот настала пора для того, чтобы испытать свои силы на открытом литературном поприще. И в 1827 году Гоголь с «Ганцем Кюхельгартеном» отправился в столицу.

В наследство от отца Гоголь получил двойную фамилию: Гоголь-Яновский. Те места, где было расположено имение его отца, назывались также яновщиной. Яновских на Украине, в Литве и в Польше было великое множество. А Гоголь – птичье имя – было редкостью. И Гоголь не решился подписать этим именем «Ганца».

Ни Гоголь и не Яновский. Он придумал себе псевдоним – Алов. Имя краткое и необычное. И поэма была издана с предисловием. Предисловие, как всегда у Гоголя, было отчасти мистификацией. В нем он на что-то кивал, чего-то недоговаривал и ничего не объяснял. <...> Гоголь изображал суетливого издателя, неловко представившего никому не известного автора.

«Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому». Какие обстоятельства? Ничего не сказано. Но подразумевается нечто значительное...

Публикация «Ганца Кюхельгартена» была первой попыткой Гоголя «вызвать» свою судьбу, испробовать силы. С этой целью он и решился на дебют. Но все же он как-то хотел задобрить своих возможных критиков, расположить их к своему первому

184

го болезненного состояния». Возможно, в таком болезненном состоянии он и оказался на палубе корабля, который плыл из Петербурга в Любек. «Проект и цель моего путешествия были очень неясны», – пишет Гоголь в «Авторской исповеди». «Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться...». Ему нужно было натерпеться... Быть одному, что-то перестрадать... Как удивительно такое определение цели путешествия!

Во время этого недолгого, но важного путешествия Гоголь решал что-то очень важное для себя. «Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (пароход был аглинский, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил.»

Вторым следствием бегства из Петербурга были слезы. Жизнь, которую Гоголь изучал с ее радостной и счастливой стороны, обернулась к нему своим печальным ликом. Сквозь смех он почувствовал грусть и дал волю слезам, которых на чужом корабле никто не видит. Первый опыт Гоголя – публикация его поэмы под псевдонимом – был неудачным. Но этого никто не знал. Просто потерпел поражение на литературном поприще некто Алов, до которого никому не было дела. Мало ли искателей славы приезжает каждый год в столицу...

Но это была своевременная неудача. Бывают у писателей неудачи, которые сбивают с ног навсего. А бывают такие неудачи, которые ставят их на ноги. Страшно подумать, что стало бы с Гоголем, если бы Алов прославился и получил признание. Может быть, в этом случае и не было бы никакого Гоголя, а был бы Алов, который как поэт, говоря по правде, уступал даже Нестору Кукольникову.

Но, слава Богу, этого не случилось. После этой катастрофы Гоголь отбросил Алова и стал самим собой. Гоголь – птичье имя. Гоголю пришлось все начинать сначала. Его поэма была написана книжным, выделанным языком. Иногда неловким, но всегда аккуратным, похожим на перевод с немецкого:

*Лежит, в густой пыли, том давний,
Платон и Шиллер своенравный,
Петрарка, Тих, Аристотел
Да позабытый Винкельман;*

186

опыту. «Это произведение его восемнадцатилетней юности», – говорит он об авторе, то есть о себе.

Принимая на себя роль «издателя», разыгрывая эту сцену, Гоголь сообщает также, что поэма представляет собой только «часть целого»: «многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера». А потом Гоголь будет говорить, что второй том «Мертвых душ» не уцелел...

Гоголь был очень заботлив. Но его предусмотрительность не помогла «Ганцу Кюхельгартену». Столица взглянула на провинциального гостя с удивлением, строго и недоуменно. Что это за поэма? Почему Ганц Кюхельгартен? Перевод ли это с немецкого? Какая такая идиллия? И кто такой этот Алов? Какое-то странное предисловие... И вообще все это провалилось. Была только напечатана одна насмешливая реплика Николая Полевого в «Московском телеграфе», подхваченная рецензентом «Северной пчелы», что «свет ничего бы не потерял, когда бы сия попытка юного таланта залежалась под студом...» [7].

Гоголь был обескуражен. Он «бросился со своим верным слугой» Якимом Нимченко «по книжным лавкам, отобрал у книготорговцев экземпляры», затем «нанял номер в гостинице и сжег» в камине «все до единого» [8]. Литературная судьба Гоголя начиналась так же, как и заканчивалась – с сожжения поэмы. Он сжег свою первую поэму, как сожжет потом и последнюю часть своей последней поэмы – «Мертвых душ». Не то что «просторного круга действий», а вообще никакого поприща он не нашел для себя при первом выходе в свет.

Вообще 30 – 40-е годы – это годы бездомных гениев.

И Гоголь бежал из Петербурга, бежал от самого себя, желая забыть и никогда не вспоминать своего злополучного спутника первого путешествия в столицу – «Ганца Кюхельгартена».

Первым следствием этой неудачи было отращивание от стихов. Гоголь после первого неудачного опыта никогда более не писал «идиллий» в стихах. Да и вообще стихов не писал. Но последнюю свою вещь назвал поэмой. И вообще всегда чувствовал себя поэтом и держался круга поэтов. Жуковский, Пушкин, Языков – вот его круг. Гоголь сам признается, что у него был меланхолический характер. Перед смертью в «Авторской исповеди» он пишет: «на меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от мое-

185

*Куски изодранной бумаги;
На полке – свежие цветы;
Перо, которым, полн отваги,
Передавал свои мечты.*

Так описывает Алов кабинет Ганца Кюхельгартена. «Мечта» Гоголя где-то странствовала на чужбине.

Гоголь возвратился из Любека, но не в Петербург. Он возвратился в свою Диканьку. И там принялся за малороссийские повести, которые составили целую серию. Написаны они где-то «на пасеке», и печатал их Гоголь тоже под псевдонимом. Их «швырнул в свет» некий Рудый Панько... Рыжий Панько... Какой-то скоморох появился на месте чинного Ганца Кюхельгартена в плаще.

«Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу!» – говорится в предисловии к первому тому «Вечеров на хуторе близ Диканьки». – *«Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернила!»* Вот голос Гоголя!

В поэме каждая строка была жеманной. Там не было самого главного – юмора Гоголя. Не было игры! А здесь каждое слово обернулось Гоголем, вспорхнуло. Гоголь, как когда-то на сцене в Нежине, вышел в костюме и маске разговорчивого пасечника.

«Слышало, слышало вещие мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, затурянику, высунуть нос из своего захолустья в большой свет – батюшки мои!» Алова никто не услышал. А Гоголь сразу привлек внимание многих. И какие слушатели у него были! На второй дебют потребовались огромные силы. Надо было заново родиться в Диканьке...

Зато уже в 1831 году Гоголь мог с нескрываемым торжеством, почти что с хлестаковской свободой написать другу по Нежинской гимназии Александру Семеновичу Данилевскому о великих и благих переменах в своей жизни: «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. <...> Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я.»

Да, это была компания не для Алова. А вот Гоголь был тут желанным гостем. Он становился «человеком известным», как и мечтал, живя в провинции, и перед ним открывался просторный круг действий...

187

Миргородская история

Повести Гоголя замечательны все. В каждую эпоху является писатель, который предписывает своему времени некий жанр. Вот в 20-е годы все, как заколдованные, писали поэмы, потому что поэмы писал Пушкин. Пушкин предписал свой жанр поэзии 20-х годов. А в 10-е годы, до Пушкина, все писали баллады, потому что Жуковский написал балладу. Баллада – это жанр 10-х годов. В 20-е годы главным жанром стала поэма. А в 30-е годы под гипнозом Гоголя никто не мог ничего писать, кроме повестей. Так всегда бывает в литературе. Появляется писатель, который декретизирует жанр своего времени.

Конечно, повесть идет вообще-то от Пушкина. Но пушкинских повестей никто не заметил, а вот повести Гоголя стали навязчивой идеей жанра. Повести Гоголя имеют природу народного праздника. Они начинаются шумом, гамом, весельем, громкими речами, а заканчиваются, как всегда заканчивается праздник, – где-то на околице, дальними отголосками музыки, грустными воспоминаниями и тишиной.

И эту особенность гоголевского таланта отметил в свое время Белинский. В статье «О русской повести и повестях Гоголя» он объяснял, что такова жизнь: сначала смешно, потом грустно, что в повестях Гоголя торжествует «совершенная истина жизни», состоящая в «колическом одушевлении, всегда побеждаемом глубоким чувством грусти и уныния». Только до Гоголя никто этого не замечал. «Гоголь – поэт жизни действительной», – пишет Белинский. Он хочет возвысить Гоголя, сближая его с действительностью. Но при таком взгляде на Гоголя природа его художественного мира как-то обедняется.

Гоголь создавал совершенно новую реальность. Разве бывает в жизни Хлестаков? Нет. Создается то, что для нас порой бывает важнее наших житейских опытов. Сам наш опыт обогащается за счет того, чего в действительности нет.

«Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, лабеля и теряя неясные звуки в пустоте воздуха, – пишет Гоголь. – Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо».

И далее, через строку, идет размышление, которого нигде, кроме как в повести Гоголя, найти нельзя было:

188

189

И другой обитатель Миргорода, сосед Ивана Ивановича, тоже очень хороший человек: «Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собой приятели, каких свет не производил».

Впрочем, некий Антон Прокофьевич, который «ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется».

Вот какие приятели – свет таких не видывал, сам черт связал их одной веревочкой... Несмотря на то, что они давние друзья, Иван Иванович и Иван Никифорович не похожи друг на друга ни внешне, ни внутренне. «Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит!» А Иван Никифорович, напротив, «больше молчит, но зато если влетит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы».

Их легко различить: «Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется; тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит: Довольно, довольно, Иван Никифорович; лучше скорее на солнце, чем говорить такие боготпротивные слова».

И силуэты у них разные: «Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Иному может показаться смешным, что голова Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх».

Но это еще ничего не говорит ни против Ивана Ивановича, ни против Ивана Никифоровича. Можно быть очень хорошим человеком и при высоком росте, можно быть прекрасным человеком, распространяясь в толщину. И Гоголь отмечает, что «несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди».

И говорить было бы тут не о чем, если бы черт не вмешался в их добрые отношения. Черт дернул за веревочку. А началось все с того, что «тощая баба» выносила из закромов Ивана Никифоровича добро проветривать на солнце. И вынесла между прочим ружье. Из-за этого ружья и поссорились друзья. А там еще были «старинное седло с оборванными стременами, с истертыми

«Не так ли радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему». Гоголевский язык несколько неправилен, но Гоголь дорожит этой неправомерностью.

Сначала никто как бы не замечал этих поэтических «вставок» в прозе Гоголя. Их заметили только в «Мертвых душах». А они были с самого начала, с первой повести. «Контрабандой» провозил он философские стихотворения в прозе, пряча их в повестях. Кажется, именно в них и заключалась главная ценность рассказов Гоголя из народной жизни. «Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному!» – пишет Гоголь. – И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».

Это и есть гоголевская интонация: «смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами». Белинский был прав, когда говорил, что это и есть наша жизнь – смешная комедия, начинающаяся глупостями, продолжающаяся глупостями, но всегда оканчивающаяся слезами. Но Гоголь изображал не только действительность, как она есть. Он всегда окружал действительность таким же по объему фантастическим миром. Гоголь изображал жизнь, осажденную бесами.

Что, казалось бы, может быть проще и веселее, чем жизнь в городе Миргороде? Жизнь здесь «так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении». Это и есть гоголевская тема – мир, осажденный блестящими, сверкающим видением, страстями, беспокойными порождениями злого духа.

И Миргород прекрасен, и обитатели его замечательны. Вот, например, повесть, которой часто пренебрегают, отдавая предпочтение таким повестям, как «Вий» или «Тарас Бульба», – «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Посмотрим, в чем же ее сущность?

«Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде!» – начинается одна строфа. «Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни» – начинается следующая строфа.

кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами».

Все эти воинские принадлежности появились на солнышке как вестники брани. И действительно, между соседями и добрыми людьми началась настоящая война.

Дело, как водится, началось с пустяков. Ивану Ивановичу понравилось ружье Ивана Никифоровича. И он решил, что тот может подарить ему это ружье, тем более что они хорошие соседи. Но Иван Никифорович заупрямился, сказал, что это вещь необходимая: «А когда нападут на дом разбойники?»

«Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся», – предложил Иван Иванович, обидевшись. «Что ж вы дадите мне за него?» – спросил Иван Никифорович, поглядев на соседа. «Я вам дам за него бурюю свинью»... Тут уж обиделся Иван Никифорович: «На что мне свиная ваща? Разве черту поминки делать». А ведь свинья – это тоже черт. По Священному Писанию, бесы вселились в стадо свиней. Так что свинья может быть страшной. «Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, дайте за ружье черт знает что такое: свинью!» Тут и сам Иван Иванович не заметил, как сказал со своей стороны «черта». Так, слово за слово, чертей прибавилось...

Они еще продолжали торговаться, пока, наконец, Иван Иванович не сказал: «Вы, Иван Никифорович, разноситесь так со своим ружьем, как дурень с писаной торбою». А Иван Никифорович тут же отбрил его «лучше всякой бритвы»: «А вы, Иван Иванович, настоящий гусак». Конечно, это была большая глупость и с той и с другой стороны.

Но за этими словами последовали действия, которые по своей глупости превосходили все слова, сказанные друзьями, как это бывает обычно при ссорах, а также при открытии военных действий. Ночью Иван Иванович подпил столбы гусяного хлева, принадлежавшего Ивану Никифоровичу. Войны часто начинаются погромами на окраинах. «Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел: ему показался мертвец; но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, проснувшийся к нему свою шею». В повести Гоголя все слова, сказанные сгоряча, материализуются. Гоголь подстраивает ловушки для слов. Вот сказано было «гусь», и явился гусь, почему-то напомнивший Ивану Ивановичу мертвеца. И действительно, между прежними друзьями уже шла смертельная война.

Сказано было «буря свинья», и вот она является на поле боя. Утром Иван Иванович посетил миргородский поветовый суд и подал иск на Ивана Никифоровича. Друзья обменялись враждебными нотами. Иван Никифорович, который первый помянул черта, пришел в тот же поветовый суд и подал иск и донос на Ивана Ивановича.

И тут произошло самое удивительное событие. «Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителям кур, яиц, краях хлеба, пирогов, книшей¹ и прочего дрязгу, в это время буря свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствовавших, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, буря хавронья убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы». Они кидали в черта чернильницей! Это ведь Лютер кидал в являвшегося ему черта чернильницей.

После того как помянутый черт в облике бурой свиньи завладел иском и доносом Ивана Никифоровича, началась тяжба, которой не было конца. И напрасно люди пытались примирить враждующих соседей. Они не слушали никого. Сам городничий пришел к Ивану Ивановичу с укоризной.

Городничий хотел соблюдения «порядка благочиния», как требовали этого «виды правительства». Но Иван Иванович ничего слышать не хотел. И тут Гоголь, прерывая смех по поводу ссоры двух друзей, как бы подмигивает в сторону Онегина и Ленского: «Боже праведный! А давно ли...». Смертельная вражда...

Там ссора друзей окончилась дуэлью и смертью поэта. Но Иван Иванович и Иван Никифорович люди другого склада. У них дуэль на доносах, на взаимных исках, а примирения нет. Они тоже стоят на роковой черте, они готовы известить друг друга доносами. Чиновники, по наивности, решили их поставить лицом к лицу и стали было подталкивать друг к другу, но одно неосторожное слово, и ссора вспыхнула снова.

«Все пошло к черту!» – пишет Гоголь.

И так оно шло день за днем и не кончалось. И вот уже пять лет прошло. И многие достойные люди умерли, а Иван Иванович и Иван Никифорович все еще враждовали между собой. Иван

¹ Лепешка с маслом – Прим. сост.

Никифорович ездил в Полтаву, чтобы добиться решения в свою пользу. Иван Иванович постарел: «лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые». Но и он был совершенно уверен, что дело непременно решится в его пользу. Но дело было словно у черта на заметке, не решалось никак, нигде и никогда. Все началось пустяками, продолжилось глупостями, и вот, наконец, пришел черед слезам.

«И таковы все его повести, – пишет Белинский, – сначала смешно, а потом грустно». И здесь сам Гоголь появляется проездом. Но, как всегда, инкогнито. «Я ехал по весьма важному делу и сел в кибитку», – пишет Гоголь. День выдался ненастный, было «дурное время». «Стояла осень с своего грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень – творение скучных, прерывных дождей – покрывала жидкою сетью поля и нивы».

И слово «скука» повторяется несколько раз. Есть такой философ Григорий Сковорода. Великий мыслитель! Сковорода сказал: скука – это бес уныния. Ничто не изводит человека так верно, так страстно, как бес уныния, который называется скукой. И Гоголь изображает жизнь, осажденную бесами, в том числе и бесом уныния. «Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. – Скучно на этом свете, господа!»

А там, за пеленой тумана, Миргород. И в нем вечно враждующие друг с другом соседи Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, бывшие некогда друзьями. И так на всем белом свете идет бесконечная вражда – неизвестно почему, неизвестно во имя чего. Но из-за оружия, между прочим, и оттого, что их «черт связал одной веревочкой». И так плетутся они друг за другом... И растет над их головами образ скуки, достигая порой исполинских размеров. Скука – наследие вражды, разъединения, бесконечной брани.

У Гоголя есть статья «Светлое воскресенье». В ней он пишет: «И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. <...> Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!» [9].

«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» есть единственное в своем роде исследование измелчания жизни и исполинской скуки.

У Андрея Белого есть книга «Мастерство Гоголя» [10]. Как вам сказать? Когда я первую работу свою писал, она не имела никакого отношения ни к Гоголю, ни к Андрею Белому, но рядом у меня всегда лежала эта книга. И если моя работа останавливалась, я открывал ее на любой странице и находил там какие-то новые силы. Так вот, Андрей Белый заметил, что запорожец из «Тараса Бульбы», роскошно раскинувшийся в пыли, является антиобразом. У Гоголя всегда есть мир и антимир. На пороге Запорожской Сечи раскинулся этот запорожец.

А на пороге Миргорода – лужа. «Удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось видеть! Она занимает почти всю площадь». Образ скуки принимает разные формы, в том числе и эту: плоская, мелкая, всепоглощающая, страшная, удивительная лужа. Можно сказать, что единственная в своем роде история о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, разыгралась на берегах этой не просыхающей миргородской лужи.

Примечания

1. Берег. – 1880. – № 268.
2. Щеголев П. Е. Из школьных лет Н. В. Гоголя. Отец Гоголя // Исторический вестник. – 1902. – № 2.
3. Кулиш П. А. Несколько предварительных слов о комедии В. А. Гоголя «Простак» // Основа. – 1862. – № 2. – Отд. 6.
4. Манн Ю. В. «Сквозь видный миру смех...»: Жизнь Н. В. Гоголя. 1809 – 1835. – М., 1994. – С. 25.
5. Из воспоминаний Н. В. Кукольника // Исторический вестник. – 1891. – Т. 45. – С. 106.
6. Гоголь в воспоминаниях современников. – М., 1952. – С. 458.
7. Московский телеграф. – 1829. – № 12; Северная пчела. – 1829. – № 27.
8. Кулиш Н. Записки о жизни Н. В. Гоголя. – СПб., 1856.
9. Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. – М., 1847 (последняя глава).
10. Белый А. Мастерство Гоголя. – М.; Л., 1934.

Испуганный город

Пушкин никому не подставлял лестницу. Вот Пушкин пишет «Пир во время чумы». И Мери поет:

Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресенье бывала
Церковь Божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса...

А потом Пушкин написал:

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей...

Можешь следовать за Пушкиным? Следуй. Не можешь? Тоже ничего, пльви как-нибудь по-другому. А Гоголь очень беспокоился, чтобы все поняли его правильно. Он всем подставлял лестницу. Все объяснял.

Гоголь написал пять томов повестей и как бы исчерпал свой эпический запас. Во всяком случае, после пяти томов повестей ему нужно было найти какую-то другую форму, и он начал писать для театра: там нет повествования, там просто выходят актеры и каждый говорит свою роль. В повестях Гоголь все объяснял, особенно в «Арабесках». А в пьесах нет такой возможности – объяснить. Ну как объяснить, что он хотел сказать в «Ревизоре»?

И Гоголь написал такую статью «Предупреждение для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"».

Эту статью, конечно, следует печатать вслед за «Ревизором». И там Гоголь между прочим говорит, что нужно обратить внимание на «целое всей пьесы».

Гоголь испытал необычайно прозорливое чувство страха.

У каждого художника есть своя сверхпрограмма. Вот Пушкин переживал осознание «благой красоты» мира. А Гоголь испытал чувство страха. И он говорит, что действие «Ревизора» происходит в «испуганном городе»: у всех зубы стучат от страха. Там в списке действующих лиц отсутствует одно лицо: страх. На протяжении всей пьесы, в каждой сцене маячит какая-то таинственная фигура, которую никто не видит: страх. А Хлестаков случайно встал на то место, где был страх. Ну, скажем, где-нибудь в углу, между часами и диваном, клубился какой-то необычайный страх. И вот на это-то место случайно и встал Хлестаков. И его приняли за ревизора. Вот что для Гоголя самое важное: «сила всеобщего страха создала из него замечательное комическое лицо. Страх, отуманивши глаза всех, дал ему популярность для комической роли», – пишет Гоголь [1].

Неожиданные реплики, неожиданные реакции становятся совершенно логичными и естественными. Когда Городничий предлагает Хлестакову переехать на новую квартиру, Хлестаков в ужасе кричит, что не поедет: «Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть – в тюрьму».

В пьесе клубится страх. Вот это гоголевский мир. Он по углам где-то дымит, он по углам забирается в какую-то мистическую сферу. Поэтому там другая логика, другие начала.

Итак, Гоголь написал пояснение к «Ревизору». Он написал пьесу, которая называется «Развязка "Ревизора"». Это небольшая, но совершенно замечательная пьеса. В ней говорится о том, что «Ревизор» – странное произведение. Сколько споров оно вызвало! В чем же дело?

В этой пьесе все крутится вокруг взятки. Это национальная комедия, существо которой – взятка. А в основе великой национальной поэмы «Мертвые души» – мошенничество. Взятка – это не только деньги, которые роняют на пол. Это подкуп не только служебный, но духовный. Взятка стала не только подробностью жизни «испуганного города», но и пружиной сюжета современной комедии.

196

197

«С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и оправдался, – вышел чуть не святой». Так кто же такой Хлестаков? Хлестаков – таинственное существо. Недаром его появлению предшествуют сны, какие-то странные события...

Хлестаков очень похож на врага человеческого рода, искающего всех своей простодушной рожницей, своим простодушным характером. Гоголь хочет сказать, что ревизор Хлестаков приходит как искуситель. С ним-то можно договориться, но нельзя договориться с тем, кто приходит после Хлестакова. Когда приходит весть о том, что «приехавший по Именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе».

По Гоголю, Хлестаков – это бес. Это крупный бес, столичный бес, который всех превратил в мелких бесов. Все это мелкие бесы: Добчинский, Бобчинский, Ляпкин-Тяпкин... Носителем здравого смысла является Городничий, но и он был введен в заблуждение. И он говорит: «Ничего не вижу, свиные рожки какие-то...» Это гоголевские метаморфозы.

И Гоголь говорит: не надо прикидываться, будто вы не знаете, кто такой ревизор: «Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по Именному Высшему повелению он послан и возвестится о нем тогда, когда и шагу нельзя будет сделать назад».

Первый комический актер выходит на сцену в пьесе «Развязка "Ревизора"». Он говорит: «Соотечественники! <...> Смотрите: я плачу!» Первый комический актер говорит: «<...> изгоним наших душевных лихоимцев! Есть средство, есть бич, которым можно выгнать их! Смесом, мои благородные соотечественники! Смесом, которого так боятся все низкие наши страсти! Смесом, который создан на то, чтобы смеяться над всем, что позорит истинную красоту человека! Возвратим смеху его настоящее значение!»

«Развязка "Ревизора"» была неудачным опытом. А эта пьеса замечательная! Ее играть бы и играть, но ее никогда не играли. И никогда не печатали.

Михаил Щепкин, знаменитый актер, прославившийся игрой в пьесах Гоголя, был противником «Развязки "Ревизора"». «Оставьте мне их, как они есть», – писал Щепкин Гоголю. – Я

198

Гоголь взял тему виновной совести, а виновная совесть подкашивает свои решения. Виновная совесть праведного человека очищает, а виновная совесть погрязшего в грехах человека затягивает в свою сферу других. Вот, скажем, ревизор. Что с ним можно сделать? Надо его сделать таким же, как все остальные. Потому что вот ревизор невиновен, он чист. Но нельзя ли ему дать взятку? Оказывается, можно.

И Гоголь пишет: «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! <...> такого города нет во всей России: не слышно, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды...».

Такого города не существует...

«Ну, а что, если это наши же душевный город и сидит он у всякого из нас?» Наш душевный город, испуганный, населенный трепещущими чувствами, ждущий ревизора. Наш душевный город, который надеется спастись взяткой тому греху, в котором сам повинен. Неужели каждый из нас так равнодушен к собственному душевному городу, что совсем о нем не думает?

Гоголь говорит, что написал басню, что написал притчу, и смысл ее в большей степени духовный, чем социальный. Он говорит, что чиновники, изображенные в «Ревизоре», – это наши страсти, наши разнообразные чувства.

«К нам едет ревизор», – говорит городничий. «Как ревизор?» – восклицает судья Аммос Федорович. «Как ревизор?» – говорит Земляника. «Господи Боже!» – говорит Лука Лукич. – «Еще и с секретным предписанием!»

Это все наша душа говорит разными голосами. Испуганная душа современного человека. Надо бывать «в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, – в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей!»

Гоголь говорит, что Хлестаков – это «ветренная светская совесть», это наша же собственная совесть, с которой мы хотим договориться. Он не настоящий ревизор, но он дает нам возможность развернуться, мы с ним входим в переговоры, мы предлагаем ему разную цену за извинение наших грехов. Хлестаков – «щелкопер», – говорит Гоголь. Хлестаков – «ветренная светская совесть, продажная, обманчивая совесть». Его легко подкупить. И его подкупают «наши же, обитающие в душе нашей, страсти».

Их люблю со всеми их слабостями». И просил, чтобы не было «этой переделки»: «Нет, я их вам не дам! не дам, пока существую. <...> Я не уступлю вам Держиморды, потому что он мне дорог!» [2] И не уступил.

Надо сказать, что Гоголь велик еще и тем, что терпел одно поражение за другим. Бывают такие поражения, которые свидетельствуют о ничтожности, но бывают и такие поражения, которые свидетельствуют о величии. «Я не уступлю вам Держиморду!» – кричит Щепкин, и Гоголь закрывает лицо руками.

«Развязка "Ревизора"» по отношению к «Ревизору» – это то же самое, что «Выбранные места из переписки с друзьями» по отношению к «Мертвым душам». И «Выбранные места» тоже были неудачей Гоголя и тоже свидетельствовали о какой-то необычайной силе его как мыслителя. Он словно хотел сказать: помните, помните, о том, что вы отвергли! Это когда-нибудь вам понадобится.

Головоломная история

Я хотел бы сказать еще несколько слов о «Мертвых душах», которые вы так хорошо знаете. В гражданском обиходе существует особый административный язык со своими понятиями, своим словарем и привычными оборотами речи.

В административном языке было понятие «ревизии» и понятие «ревизской души». Еще в 1834 году, задолго до Гоголя, Барон Брамбеус написал повесть «Похождения одной ревизской души».

Время от времени, раз в семь или десять лет происходила перепись крепостных. Составлялась «ревизская сказка», и до следующей переписи ее означенные в списке люди именовались «душами». Самый ужас заключался в том, что никто не приходил в ужас от того, что его называли «владельцем души». «Сколько у вас душ? – Четыреста. А у вас? – Семьдесят».

И вот тут возникла идея головоломной негодии Чичикова. «Эх, я Аким-простога, – сказал он сам себе, – иду рукавицу, а обе за поясом! Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уже двести тысяч капитала!»

А ведь кто покупал души? Души покупал дьявол. Вот «Фауст» – это история того, как Мефистофель купил одну челове-

199

ческую душу. Сколько хлопот у него было! И гулял он в красном плаще, и пуделем прикидывался...

А тут сотнями души человеческие продаются. Мефистофель покупал в розницу, а Чичиков – оптом.

И кто продает? Честные, добрые люди. Коробочка боится прогадать, не знает, сколько душа стоит. Как бы не продешевить! Манилов говорит: да я так подарю! Гоголь говорил, что самое важное в «Мертвых душах» – это кто и как продает души человеческие.

Все продают! За исключением одного человека.

Только один-единственный человек не продал – Ноздрев. Самый смешной, самый нелепый, а вот не продал никого. Он говорит: «*Послушай, Чичиков! ведь ты, – я тебе говорю по дружбе, <...> я бы тебя повесил, ей-богу повесил!*» Ноздрев был «исторический» человек. Вот он пришел на бал, конечно, напился, сел на пол, стал хватать за ноги танцующих и высказался: мошенник, мошенник! Мертвыми торгует!

Жаль, что нет времени прогнать подробнее: кто как продавал.

Дело не в том, что все они – помещики. Нет, дело в том, что все они хриstopродавцы.

А кто такой Чичиков? Чичиков – фантастический человек. Он назвался таврическим и херсонским помещиком. «*Теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут!*» Это о мертвых...

И вот началось путешествие Чичикова. Чичиков – Мефистофель. Он дьявол. Он искушает. «*Предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит.*» Да никто и не признает!

Но Чичиков осторожен. Он выбирает помещиков, и выбор его точен. Он стремится «*расположить к себе*», чтобы, «*если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков.*»

Оказывается, что не всех можно расположить к себе. Вот, например, Ноздрев. «*Купи собак*», – предлагает он. «*Купи у меня шарманку, чудная шарманка.*» – «*Да зачем же мне шарманка?*» Хорошая шарманка, исполняет «*Мальбрук в поход собрался*». А вот мертвыми душами Ноздрев не торгует. Вот шашки – другое дело.

Гоголь все свое мастерство положил на то, чтобы эти вот ценны разработать: кто как продает мертвые души. И вот в список попала «*Елизавет Воробей*» – в мошенничестве смоненничал Собакевич.

200

Хлестаков всех очаровал. Дочь городничего собралась замуж за Хлестакова. Жена городничего говорит: «*Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем.*» Хлестаков говорит: «*Это ничего!*»

Павел Иванович тоже всех очаровал.

Вот я был на репетиции в Театре на Малой Бронной, и там замечательно – сцена бала. Все актеры собрались и должны были говорить: Павел Иванович! Павел Иванович! Как бывает, когда приближается паровоз – звук нарастает, нарастает.

Обольстительная фигура!

«*Ну недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович!*»

Они так полюбили его, что он уже не знал, как вырваться из города.

Но Чичиков занят делами, которые свет называет «не очень чистыми». Проще говоря, нечистыми. А нечистый – это черт. «*Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям*» носил фрак «*брусничного цвета с искрой*». Человек «*средних лет, имеющий чин не слишком большой и не слишком малый*», с виду «*не так, чтобы слишком толст, однако ж и не тонок*». Какие-то все определения «промежуточные» «прилипают» к Чичикову. И раскланывался он «*несколько набок, впрочем, не без приятности*». Вот и кривизна проступает...

Он светский человек, он умеет поддержать любой разговор: о лошадином заводе, о хороших собаках, о казенной палате, о миллиардной игре... «*О добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах*».

А между тем, афера его совершенно дьявольская по своему замыслу. Он покупает душу человеческую. Цензор Дмитрий Павлович Голохвастов, когда ему дали рукопись «Мертвых душ», закричал не своим голосом. Он закричал: «*Душа бессмертна! Мертвой души не может быть!*»

И цензор был совершенно прав. Поэтому фрак Чичикова «брусничного цвета с искрой» вдруг начинает просвечивать кровью и пламенем, как плащ Мефистофеля. А то, что он помещик средней руки, ничего не значит. Просто другие времена. А дело его прежде – охота за душами человеческими. И пахнет от него сквозь одеколон серой...

«*Я многие вещи называю прямо по имени, – пишет Гоголь в письме к С. Т. Аксакову, – то есть черта просто называю*

201

чертом, не даю ему вовсе великолепного костюма а la Байрон и знаю, что он ходит во фраке». А во фраке рассказывает про усадьбы и присутственным местам Чичиков. И никто его не узнает, потому что дело-то неправдоподобное.

Манилов, впрочем, смутился и спросил, «*не будет ли эта негодия несоответствующей гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?*» Обычно эту фразу приводят как свидетельство глупости Манилова. Но почему? Манилов прав. Куда же можно двигаться с такими негодиями? И здесь Манилов «*посмотрел очень значительно в лицо Чичикова*».

Когда пошли слухи о том, что Чичиков покупает мертвые души, помещики стали гадать, кто же такой Чичиков? И тут у всех ум за разум зашел. О нем заговорили так, как будто никто его не видел, хотя только что с ним разговаривали и даже дружбу заводили.

Почтмейстер утверждал, что Чичиков – это капитан Копейкин. Да Чичиков и был капитан Копейкин, потому что он за копейку душу продает и купит. Но это мошенник Копейкин. У другого, честного Копейкина, жизнь пропала за копейку, а этот за копейку берет чужие души. «*Позволь, Иван Андреич, – сказал вдруг, прервавши его, полицмейстер, – ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова...*». И здесь «*почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично и при всех телатиной*».

И действительно, Чичиков внешне не Копейкин. А внутренне – он и есть настоящий Копейкин.

Ну а полицмейстер заметил, что Чичиков, «*если он поворотится и станет боком, очень сходен на портрет Наполеона*». И его слушали внимательно, потому что он «*служил в кампаньи двенадцатого года и лично видел Наполеона*»: «*ростом он никак не будет выше Чичикова и <...> складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать слишком толст, однако ж и не так, чтобы тонок*». Так Чичиков оборотился Наполеоном. Наполеон, сказавший о своих солдатах chair a canon (пушечное мясо), тоже был Копейкиным, поскольку душа человеческая стала стоить копейку.

Купцы имели свое мнение относительно Чичикова. Они верили предсказанию «*одного пророка, уже три года сидевшего в остроге*». Этот пророк «*пришел неизвестно откуда в латях и нагольном тулупе, страшно отдававшим тухлой рыбой*».

202

Он возвестил, что «*Наполеон есть Антихрист и держится на каменной цепи, за шесть стенами и семью морями, но после разорвет цепь и завладеет всем миром*». Пророк, как водится, «*за предсказание попал, как следует, в острог, но тем не менее дело свое сделал и смутил совершенно купцов*». И купцы с тех пор, отправляясь в трактир после «*прибыточных сделок*», за чаем «*поговаривали об антихристе*».

Чичиков объезжает Россию. Он завоевывает ее, как Наполеон. Только у Наполеона были chair a canon, его солдаты, а за Чичикова сражаются купюры.

Хрупким и тонким оказался мост между «натуральным» и «мистическим» мирами. «*Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом и, зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено имя «Наполеон», какое-то особое значение; многие даже открыли в нем апокалипсические цифры*». Так в «*Воине и мире*» Пьер Безухов, вычислив, что Наполеон это зверь из бездны, следовал за Гоголем.

Поэма «Мертвые души» читается детьми по-детски, а взрослыми – как взрослые люди читают. Но можно ее читать и как иносказание, как пророчество, как глубокую книгу, примыкающую к большим художественным открытиям XIX века, внутренне связанную с «Фаустом» Гете.

Самое представление о дьяволе изменилось. У Д. С. Мережковского есть книга, которая называется «Гоголь и черт» (1911). Мережковский говорит: «*Главная сила дьявола – умение казаться не тем, что он есть*». Черт любит рядиться, пугать человека. «*Гоголь увидел черта без маски, увидел подлинное лицо его, страшное не своей необыкновенностью, а обыкновенностью*», – пишет Мережковский.

Чичиков был «*как все*» – не большой, но и не маленький... «*Павел Иванович, побудьте с нами еще недельку!*» – «*Охотно, охотно*».

Гоголь понял, что «*лицо черта есть не то далекое, чуждое, фантастическое*», вроде Мефистофеля или Демона, а самое близкое, знакомое, реальное, «*человеческое, слишком человеческое лицо*», лицо толпы, «*лицо как у всех, почти наше собственное лицо в те минуты, когда мы смеем быть сами собою и соглашаемся быть “как все”*».

Он потому и завладевает нами, что похож, принимает наше обличье. Каковы мы, таков и дьявол. Наши страсти расточают казну

203

души нашей. И является Хлестаков. Является Чичиков. Вопрос Гоголя «Над кем смеется?» существует и в «Мертвых душах».

Гоголь владел тайной пластического изображения. То, что он изображал, становилось совершенно реальным. И поэтому казалось, что он изображает объективную натуру.

А между тем Гоголь был в большей степени духовный писатель. Он не был бытописателем, хотя изумительно изображал быт. Но приглядитесь внимательно, и вы увидите, что это внутренний пейзаж, это быт нашей души. Книга, которая раскрыта на тринадцатой странице, эта книга в нашей душе существует, а не является внешней подробностью жизни.

Гоголь говорил, что образ, который он рисует, дается ему «внутренним созерцанием», а не копированием. Вот у него есть повесть «Портрет». В этой повести говорится, что на портрете был изображен ростовщик. Ростовщик, то есть тоже мошенник. Вот этот ростовщик был изображен как живой. И это был грех художника – то, что он изобразил его как живого, потому что, в конце концов, тот выпрыгнул из картины и ушел, а на стене осталась пустая рама.

Гоголь говорил, что искусство – это не то, что реально. То, что абсолютно реально, всегда уходит. Персонажи спрыгивают со сцены и начинают разгуливать по залу. Это грех перед искусством, и он приводит к тому, что сценой могут завладеть демоны. И превратить актеров, которые не люди, пока они играют на сцене, в людей. Они раздирают ризы на актерах. Так Иван Грозный раздирает ризы на священниках. Толпа уничтожает священника без риз. Толпа знает, если он стоит в облачении, спокойно – это святое дело. А если ризы разорваны, если его посадить задом наперед на лошадь, его уничтожит толпа. Толпа уничтожает искусство.

Аполлон Григорьев говорил, что фигуры Гоголя рельефны, но не до такой степени, чтобы выпрыгнуть из рамы. А в повести «Портрет» ростовщик выпрыгнул из рамы. И художник признается, что не может понять, с кого он написал этот портрет. Это было «точно какое-то дьявольское явление». «Я знаю, – говорит художник, – свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе».

Отожествление искусства и жизни, которое кажется естественным, приводит к тому, что отравляется источник творчества.

204

это было у Кольцова, который говорил: «Тяжела мне дума и легка молитва», у Лермонтова, который говорил о том, что расхочется, смиряется «души моей тревога», и «счастье я могу постигнуть на земле», «и в небесах я вижу Бога».

И Гоголь, который заканчивал свою жизнь с ужасом продиктованной молитвой.

Испуг – это была гоголевская судьба. Он один за всех навсегда испугался, глядя на эту жизнь, осажденную бесами. И он хохотал, потому что смех – это доказательство душевных сил человека.

Вот Пушкина современники как-то просмотрели. Писарев называл его «милый маленький Пушкин». Какой он «милый маленький»? Я написал в одной статье, что благодаря пространственной перспективе Писарева Пушкин на Олимпе казался маленьким. Пушкин – то на Олимпе! А снизу реалисту что видится... Писарев – нигилист, реалист. Это ведь он придумал это слово – реалист. Он и не понимает, куда это забрался Пушкин? Так вот, современники проглядели Пушкина.

И Гоголя проглядели. Совсем проглядели! Белинский говорит: «Что вы делаете! Посмотрите, вы стоите над бездной!» Щепкин кричит: «Я не отдам вам Держиморду!» Ну, и пожалуйте, оставайтесь с Держимордой.

И Гоголь сжег второй том поэмы.

Но я иногда думаю, что этого второго тома, может быть, и не было никогда. Есть, конечно, какие-то главы... Неудачные... Гоголь написал ответное письмо Белинскому, но порвал и выбросил.

Гоголь видел, что его не приняли ни Белинский, ни Аксаков. Отец Матвей, духовник Гоголя, требовал, чтобы он отрекся от Пушкина. Пушкин – де язычник, и от него нужно отречься. Но Гоголь не мог отречься от Пушкина.

Знаете, есть рассказ о Валааме. Как Валаам ехал на ослице, и первосвященники ему сказали: «Встань, Валаам, и прокляни вот отсюда». А он благословил. «Валаам, иди сюда, встань, вот отсюда прокляни!» А он опять благословил. Что такое? Оказывается, перед ослицей прошел ангел, и ослица это поняла. Та самая валаамова ослица. Она поняла, что не надо проклинать, а надо благословить. А говорят: отсюда благослови, он проклял. Лев Николаевич Толстой говорил, что это и есть талант. Талант заключается именно в этом, когда человек сам не может заключить ничего. А это его ослица ангела увидела!

206

«Я не чувствовал никакой любви к своей работе» – вот отчего происходит разрушение искусства. И стало ясно даже непосвященному, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы.

Утрата идеала, по мысли Гоголя, утрата условности искусства равнозначна утрате самого искусства. Дьявол победил художника, обманул искусство, выпрыгнул, сбежал, и осталась пустая рама на стене.

Я хочу вам сказать, что Гоголь был последним великим романтиком в русской литературе. Белинский потратил столько сил, чтобы доказать, что Гоголь реалист, что Гоголь натуралист. Но в Гоголе все протестует против этого. Это не значит, что Белинский был неправ. Белинский был тысячу раз прав, потому что он предчувствовал эпоху реализма. Она уже была на пороге. За смертью Гоголя придут все: Тургенев, Толстой, Некрасов...

Но Гоголь связан с прошлым больше, чем Белинский с будущим. Самый любимый писатель Гоголя – Вальтер Скотт. Он перечитывает Вальтера Скотта. Он говорит, что есть романтики, которые искажают идеал, а не натуру. Думают, что натуру искажают, а на самом деле – идеал. Это плохие романтики. А есть романтики, которые рисуют в пропорциях идеала. Это классические романтики, например, Вальтер Скотт.

Гоголь был художником. Он рисовал рисунки, и это рисунки старого сильного романтика, который не очень-то верит реальности. Гоголь пишет: «Если бы я был художником, я бы изобразил особого рода пейзаж. Какие ландшафты пишут теперь: все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель идет по складам за ним. А я бы сцелил дерево с деревом, я бы перепутал ветви, выбросил свет, где его никто не ожидает». Это пейзаж Гоголя, чисто романтический пейзаж.

Что объединяет Кольцова, Лермонтова и Гоголя? Их объединяет не только то, что они были современниками романтизма. Эпоха романтизма проходила, почти вся уже прошла. Но они еще стоят на ее грани. Кольцов, Лермонтов и Гоголь – это великие русские романтики, у которых наша история литературы отнимает душу, доказывая, что они предшественники реалистов.

Старая классическая литература, созданная Пушкиным, навсегда сохранила пушкинское тяготение к идеалу. И формой для нее, законной, естественной, родной, понятной всегда, был чистый романтизм с очень глубокими религиозными идеалами, как

205

Гоголь не отрекся от Пушкина. Но он отрекся от себя. И перестал писать. А когда такой человек, как Гоголь, перестает думать, писать – это смерть. И он умер. На могиле его написано из Иеремии: «бых во смех весь день», то есть всю жизнь был «во смех»... «Вси ругают мне, понеже горьким словом моим посмеюся».

Запомните это! Я вот одного студента спросил, что написано на могиле Гоголя, так он посмотрел на меня, как на безумца. Я не ответил на вопрос, но я благодарю за него. Кто писал? Ахматова говорила...

Примечания

1. Тихомиров Н. С. «Ревизор». Первоначальный сценический текст... – М., 1886.
2. Переписка Н. В. Гоголя: в 2 т. – М., 1988. – Т. 1. – С. 469.

207